

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30.

Стакан пчел

Дома позвонил безотлагательно. Директора не застал, рад был тому: Иван Васильевич, именно он ярим психологическим накатом отшиб мою память, иначе я не забыл бы рукопись, сладостно, вздохнув создаваемую два месяца. Умно учили крупнокалиберных охранников мозгосокрушительным детективным сценам. Отозвалась по телефону Ивана Васильевича бухгалтерша Люда, умная, сердечно относящаяся к писательским заботам.

Она устроилась в Дом творчества, будучи юной матерью двух маленьких девочек. До этого они жили в авиационном поселке на Дальнем Востоке, где их отец и муж, летчик-перехватчик, потерялся над океаном за грядой Курильских островов. Я попросил Люду позвать к телефону через часик Анатолия Чехова, а если он ушел кусаться (каждый день он под горой Тепсень ловил стакан пчел в овраге и опрокидывал их оттуда к себе на колени, с помощью их яда изгонял фронтальной ревматизм), то пусть звякнет из будки международного автомата. Звякнул. Озаботил я Анатолия Викторовича. Вечером он вдруг звякнул. Рукописи не оказалось под лампой. Виктор не видел ее, но сказал, что горничная Вера спрашивала, обнаружив кипу исписанных листков, дескать, что с ними делать, и он ответил: коль Воронов не взял, значит, отпала надобность. Куда Вера дела рукопись, Виктор не осведомлен. Возможно, передала сестре-хозяйке корпусов Марине или самому директору. Есть, как Чехов узнал от Люды, давний приказ: произведения, забыты они или оставлены, передавать администрации. Та же Вера приносила в контору даже скомканные поэтом Евтушенко черновики, а, стало быть, она сохраняет рукописи.

В тот день, когда мы созвонились с Чеховым, ему не удалось разыскать Веру: уехала в гости, а директор остался в Феодосии, на своей тамшней квартире. На другой день, перед уборкой, Вера известила Чехова о разговоре с Виктором, после чего завернутую в пленку рукопись опустила в урну, а урну опрокинула в контейнер. Водитель грузозика отвез контейнер на мусорную свалку.

Обеспокоенный этой оплошностью, поэт Борис Слуцкий (мы давно были с ним в добрых отношениях, начавшихся с взаимных творческих симпатий) решил, что надо ехать на свалку. Вызвался их отвезти шофер микроавтобуса Сергей Рыбаков. Мы дружили семьями: он, я и наши жены – Тася с Татьяной.

Киевская метода

Свалка чадила. Ливанул обильный дождь, пригласил ее. Походили среди ее куч трое моих жалких сотоварищей, но не обнаружили сказочного пакета. Они не запаслись необходимым инструментом, а потому вернулись сюда следующим днем с вилами-лопатами. Сколько ни ворочали кучи, так и не нашли рукопись, однако уверенности, что она могла гореть, у них не возникло: нет-нет и дождило. Покамест вторая половина «Сказки про Игдара-доброесерда и его

поцелуйного сына Длиннозуба» не найдена. Помнилось, собирался восстановить ее, да не успел приняться: столь много в последние годы было переживаний, что с неизбежностью настиг меня инфаркт миокарда.

Не захотел в больницу. Киевские врачи лечили инфаркт, не позволяя пациенту залеживаться: подвижность больного обеспечивает быстрое и основательное выздоровление. Врач в поликлинике Литфонда СССР Анатолий Исаевич Бурштейн согласился лечить меня по киевской методе. Каждодневно он приезжал на проспект Вернадского с двумя сестрами: одна делала кардиограмму, другая – уколы валокардина и анальгина. Сам он слушал сердце и измерял давление. Не обращая внимания на боли в груди, я ходил на прогулки в Тропаревскую рощу. Ходил один, хотя из Магнитки приехала ко мне мама – Мария Ивановна. Татьяну и детей, Ирину с Антоном, я отправил на дачу писателя Юрия Трифонова. Перед отъездом на отдых за границу с женой Аллой Юрий Валентинович предложил нашему семейству погостить у него летом в Красной Пахре.

Увы, столичное мое обитование началось и продлилось, исключая паузы, и таинственно, и опасно. Литфондовские медики не оказались бы спасительно заботливыми, искусными, если бы не прекратились «микрорезультаты» (тех, кто занимался ими, наверняка устроил и остановил результат), я не смог бы окрепнуть за полтора года. Поддержала меня в неменьшей мере публикация «Новым миром» повести «Голубина охота», высоко оцененная Александром Твардовским, его соратниками Игорем Сацем, Алексеем Кондратовичем, Владимиром Лакшиным. Время от времени к разным моим вещам, от рассказов до романов, применялась, чаще изустно, магнетически восхитительная похвала: шедевр. По отношению к «Голубиной охоте» это слово катилось, неослабно аюкаясь, как эхо в горах. Исходило оно от писателей, которых читал, которыми восторгался, которые из года в год наращивали бриллиантовую яркость и полыхивость своего письма: от Павла Нилина, Гавриила Тропольского, Вениамины Каверина, Валентина Катаева, Алексея Кожевникова, Веры Китлинской, Ольги Марковой (Урал), Юрия Бондарева, Виктора Старикова, Анатолия Соболева, Виктора Астафьева, Сергея Залыгина, Валентина Распутина...

В детстве я принял стилистическое установление Ивана Крылова: лучше проквачать по-лягушачьи, но по-своему

то не ради идеологической чистки писательских рядов. Я выступал с убежденностью, разумеется, пламенно, в защиту Байкала; в связке с Сергеем Залыгиным бился против постановки плотины на Нижней Оби, а также против поворота северных рек, ради чего наведаясь в Академию наук СССР на комиссию, которую возглавлял академик Яншин. И то, и другое не случилось. Вместе с поэтом Валентином Сорокиным и прозаиком Андреем Блиновым я ходил к Георгию Мокевичу Маркову с заботой о безотлагательной реабилитации великого русского поэта Николая Гумилева. Вскоре после в той же заботе я поднимался на трибуну большого зала Центрального дома литераторов (был пленум СП Москвы), где завершил свое выступление гневным криком: «Когда наконец-то будет реабилитирован

Вымороченная скудость

Писака Ткаченко начал нисходить к беспробудной психопатии. В 60-е годы его мозговую бесконтрольность определили бы точно и хлестко: маразм крепчал. Эту вымороченную скудость нельзя не усматривать в тираде, куда он свалил кучу злокозненного бесстыдства: «На всех собраниях, съездах, совещаниях лез на трибуну и произносил такие пламенные речи с наизусть заученными цитатами из Брежнева, так пекся об идеологической чистоте писательских рядов, что все повадившие москвичи только головами качивали: столь яростного «бойца» у них давненько не бывало! Откуда он взялся, что написал?..»



Юрий Трифонов, с которым Николай Воронов был в добрых отношениях

Выше я уже затронул свое вхождение в столичную жизнь. На собраниях, съездах, совещаниях мне приходилось бывать, а на трибуны я не лез – редко возникала надобность, тем более после инфаркта миокарда. Делегатом писательских съездов, общесоюзных и российских, я, как правило, избирался, но ни разу на них не выступал и не стремился выступать. Не припомню, чтобы Ткаченко избирался на съезды, не было повода: подводила творческая и общественная анемичность. А если я и восходил к трибуне на собраниях и совещаниях,

великий русский поэт Николай Гумилев?!»

Смехотворный Ткаченко

В президиуме пленума сидели сотрудники ЦК КПСС, что, вероятно, и способствовало быстрой реабилитации Гумилева. В той же речи на пленуме я поддержал выдающегося горьковедом Александра Овчаренку, давшего многообразную оценку отрывкам романа «Мироздание по Дымкову», целиком названного «Пирамидой», Леонида Леонова, напечатанным в журналах «Наука и жизнь», «Москва», «Новый мир». После выступления Овчаренки выбежал на трибуну второй секретарь СП СССР Сергей Сартаков, посланный из президиума Альбертом Беляевым, с тем, чтобы не говорили о леоновских отрывках, главный герой которых – ангел. И я, вида это и не согласный с одергиванием, отвратительным даже для тогдашнего смиренного приспособленчества, выразил свое возмущение сартаковским выпадам и подчеркнул, что, как стиль отрывков, так и образ ангела Дымкова осенены гением. И в те годы, глухие из-за реакционно-иезуитского устранения «Нового мира» Твардовского, хотя и в ком-то из советских людей сохранялось свободололюбивое одухотворение, вызванное чехословацкими событиями, и в десятилетия за ними Анатолий Ткаченко не обнаружил ни одного смелого поступка, который бы запомнился не то чтобы в Отечестве, а в нашей локальной среде. Теперь, изображая из себя рыцаря разоблачения, он смехотворен в моем печатании. Десятилетиями отсиживался в благоустроенных квартирах, простонародно говоря, прижамши

уши, и вдруг этакий доблестный честняга! А на самом-то деле – порождение дьявольского негодяйства, а по-земному – маразматический маразматик. Надо ж вякнуть, будто бы я заучивал наизусть цитаты из Брежнева. Цитатничеству я был чужд со школы, предпочитал во всем, о чем писал и говорил, оставаться оригинальным и самовитым. Кто нахребтничает на перьях облюбованных писателей, журналистов, аппаратчиков, тот хват паразитарности. Чуждаясь цитирования, я стремился запомнить смысл и образ того, что привлекало меня в чужом тексте. Соблазн запечатлеть великолепие чьей-то словесной удачи отменялся мною как попытка принарядить свое за счет другого. В детстве я принял стилистическое установление Ивана Крылова: лучше проквачать по-лягушачьи, но по-своему. В юности я воспринял с восторгом, что Николай Чернышевский уклонялся от цитирования ради того, дабы самому ярче отличаться и запечатлеться. Направление изобразительных и мыслительных интересов складывало мой индивидуальный характер. Этим я начисто отодвигал применение в собственном тексте цитаты из статей, докладов, книг борзописцев от политики, тем более партийных деятелей.

Негры Леонида Ильича

Я знал, кто работает на Брежнева. Один из них, очеркист, умевший выходить на важные проблемы, но письмом – газетчик уровня тогдашней газеты «Труд», подрядился быть негром Леонида Ильича. Первый доклад для генерального секретаря он насытил социально-экономическими положениями Карла Маркса, на что Брежнев отреагировал с положительной скромностью: моим друзьям известно, что я не такой умный, как явствует из доклада, поэтому нет надобности выпивать меня цитатами родоначальников.

Тем, что избегал цитирования, я создавал читателям условия для цитирования моей поэтической прозы. Концентрированным выражением этого стремления я нахожу у себя роман-фантазия «САМ».

В день моего семидесятилетия писатель Валерий Рогов вручил мне от себя и жены Татьяны двухтомник, сложенный Юрием Селиверстовым «...из русской думы». Вручил с надписью: «Дорогой Николай Павлович, к сожалению, Юрий Селиверстов не знал ваш удивительный роман «САМ», а иначе бы он и вас (безусловно!) причислил к определяющим мыслителям нашего XX века».

Но мы-то знаем, что все вами предсказанное – эра сержантов, секрелигия и «император Болт Бух Грей» – планомерно осуществляется в нынешней российской Самии.

Разрешите почтительно склонить голову из великого к вам уважения. Валерий и Таня Роговы. 20 ноября 1996 г.»

Сдерживая умствования очеркистов, вообще своих негров, Брежнев создавал предпосылки для тусклоты «собственных» докладов. Было бы нелепостью для меня заучивать что-то из них наизусть.

Ради справедливости пропедалирую: мои заучивания наизусть закончились прозой Гоголя в школе рабочей молодежи 60 лет тому назад (M)

Продолжение следует